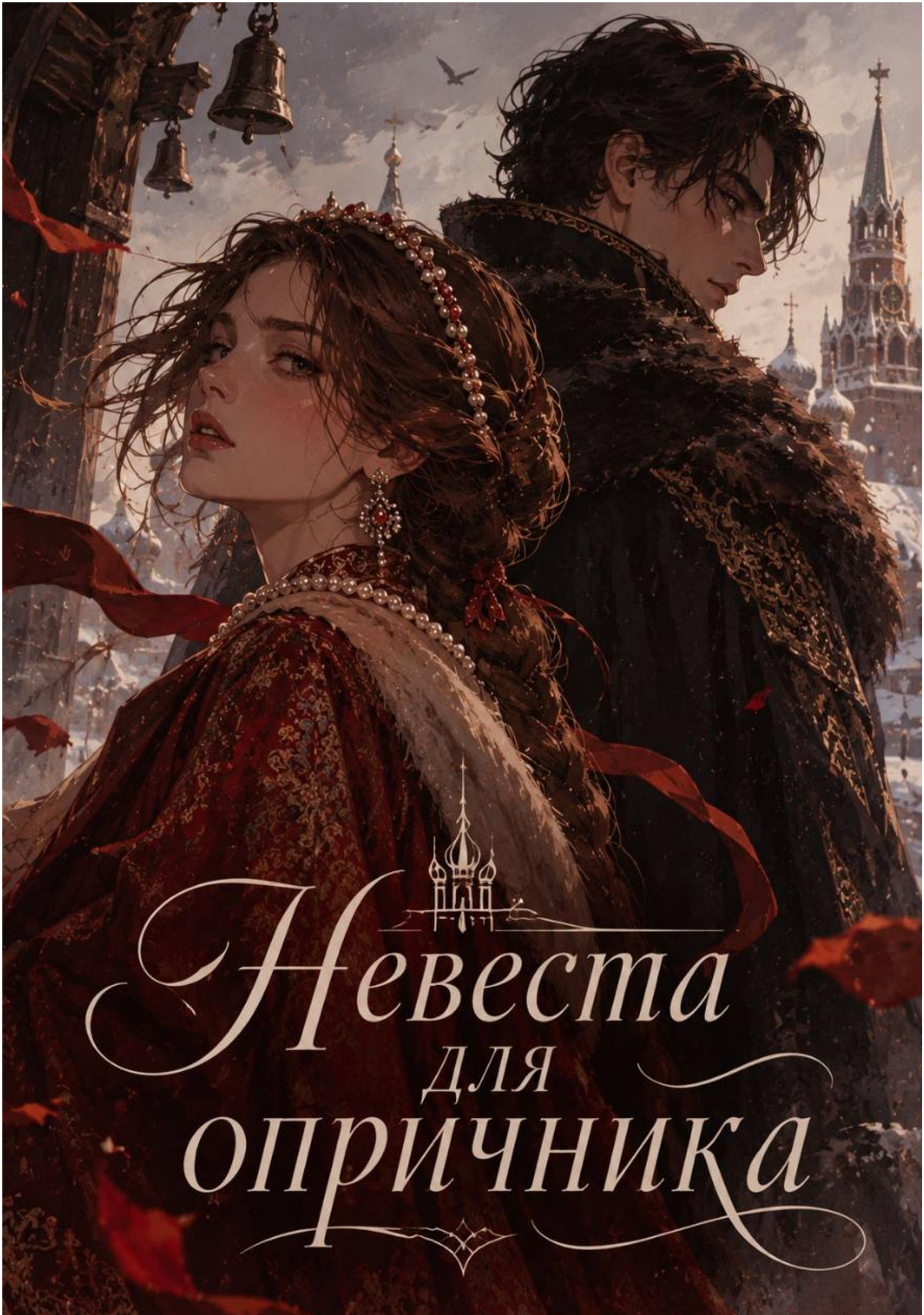
Невеста
для
опричника

Дмитрий Минаков

Невеста для опричника

«Автор»
2026

Минаков Д. А.

Невеста для опричника / Д. А. Минаков — «Автор», 2026

Она собиралась провести вечер за реставрацией старинной иконы, а не проснуться в XVI веке — да ещё и в чужом теле!Теперь Настя — боярышня Анастасия, невеста Фёдора Басманова, человека, чьё имя произносят в Москве шёпотом. На дворе 1565 год, опричнина только набирает силу, а её новый муж — тот, кому история уже вынесла смертный приговор.Настя прекрасно знает, чем всё должно закончиться. Вот только у истории, кажется, свои планы на незваную гостью. Между дворцовыми интригами, опасными тайнами и браком, которого она совсем не просила, ей придётся научиться выживать в мире, где одно неверное слово может стать последним.Но что делать, если самый опасный человек в Москве постепенно становится тем, кого меньше всего хочется терять?

© Минаков Д. А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 9
Глава 3 13
Глава 4 18
Глава 5 23
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Дмитрий Минаков
Невеста для опричника

Глава 1

Если вы когда-нибудь снимали копоть пяти веков с лица Богородицы в час ночи, а в девять утра к вам должна прийти научная руководительница, вы поймёте, почему я сняла перчатки.

Вообще-то перчатки в реставрации нужны не для красоты. Пот, жир, кислота с кожи остаются на красочном слое, и лет через сто какой-нибудь несчастный человек будет это отмывать и тихо ругать мою фамилию. Я знала это с первого курса. Я даже говорила это практикантам, с таким лицом, будто сама ни разу не нарушала.

Но тампон выпал из пинцета и покатился по столу, и когда я полезла за ним, я задела локтем лампу. Свет качнулся, мазнул по левому нижнему углу доски, и я увидела трещину.

Не старую. Старых там хватало, они шли по лаку тонкой сеткой, как морщины у бабушки, и я знала их наизусть. Эта была другая: тёмная по краям, с чистым светлым нутром. Будто доска лопнула прямо сейчас, пока я лазила за тампоном.

Первая моя мысль была не про икону. Первая моя мысль была: «диплом».

Вторая: «Нет, ну это уже просто смешно».

Икона была из областного музея. Одигитрия, середина шестнадцатого века, сверху поздняя запись, под ней что-то поинтереснее, и я третий месяц вытягивала это интересное по миллиметру. Доверили её мне только потому, что больше было некому: сезон отпусков, у Марины Львовны операция, у остальных то дети, то дачи. Я потом много думала: если бы хоть кто-то из них оказался свободен, я бы сидела дома и ела пельмени.

Я посмотрела на трещину. Трещина, как водится, никуда не делась.

Тогда я сделала то, чего делать не стоило. Стянула с правой руки перчатку и потрогала край. Просто чтобы понять, откуда она идёт, глубокая или только по грунту. Профессиональный жест, так я себе объяснила.

Доска была тёплой.

Не от лампы: лампа стояла в метре и светила холодным. Тёплой, как буханка, которую только что достали из духовки и ещё не успели накрыть полотенцем. Пахнуло воском, дымом и чем-то сладким, не то мёдом, не то перегоревшей лампадкой. Свет в мастерской стал густым и жёлтым, будто кто-то налил в комнату масла.

Помню, что подумала: надо было всё-таки поужинать.

Дальше я помню плохо.

Первое, что я услышала, был вой.

Выли сразу несколько голосов, слаженно, с продыхами, то на одной ноте, то на другой, как хор сельских сирен на репетиции. Я лежала с закрытыми глазами и пыталась сообразить, откуда это. Соседи? Улица? Кого-то хоронят? Но звук шёл не с улицы. Он шёл из этой самой комнаты, примерно от моих ног.

Я открыла глаза и увидела потолок.

Деревянный, низкий, расписанный красным и зелёным: завитки, цветы с хвостами, птица, у которой были явные проблемы с анатомией. Потолок в моей мастерской был белым, в жёлтых разводах от протечки, и птиц на нём не водилось.

Может, я уснула прямо на работе и мне снится музей? Я решила, что да. Очень разумная версия. Продержалась она секунды три.

Во-первых, пахло. Сало от свечей, дым, кислая шерсть, чей-то пот, и поверх всего это приторное, медовое, как будто в соседней комнате варили что-то сладкое для людей, которые не любят сладкое. Во сне так подробно не пахнет. Я знаю, у меня обоняние на лаки и растворители тренированное.

Во-вторых, подо мной было слишком мягко. Перина, настоящая, пуховая, из тех, в которых тонут по уши. Сверху давило что-то тяжёлое и тёплое, и когда я пошевелила ногой, под одеялом оказался мех. Настоящий. Не мой плед с оленями.

В-третьих, под спиной лежала кошка.

Я была уверена, что кошка: что-то толстое, живое на ощупь, длинное. Я запустила руку, чтобы её согнать, и потянула. И мне стало очень больно, потому что кошка оказалась привязана к моей голове.

Это была коса.

Моя, судя по всему. Толщиной с моё запястье, тёмная, тяжёлая, заплетённая так туго, что у меня зазвенело в висках. Я с четырнадцати лет носила каре. Я как-то раз полтора часа сидела в парикмахерской, объясняя, что мне нужно «не короче подбородка, но и не длиннее плеч», и мне казалось, что вопрос волос у меня закрыт навсегда.

Я поднесла руку к лицу.

Рука была чужая. Маленькая, мягкая, с гладкой кожей и аккуратными ногтями, без мозолей. У меня на левом большом пальце был шрам от скальпеля, я заработала его на втором курсе и очень им гордилась, это был первый честный профессиональный шрам. На этой руке шрама не было.

Вой за спиной всё это время не прекращался. Видимо, у него была своя программа, и он шёл по ней независимо от меня.

Я села.

Вой оборвался на полуслове.

У изножья кровати стояли три женщины в тёмных платках. Одна держала у лица уголок платка и, судя по всему, собиралась снова зарыдать: так и застыла с открытым ртом, на середине звука. Выглядело это как пауза в плохом спектакле, когда актёр забыл, что дальше.

— Проснулась, — прошептала вторая. Таким голосом говорят про медведя, которого не хотели будить.

Я смотрела на них. Они смотрели на меня. У двери кто-то уронил что-то железное, и все вздрогнули.

Никто из нас не знал, что делать дальше.

Из-за их спин вынырнула старуха. Маленькая, сухая, с лицом как печёное яблоко, которому вдруг дали право голоса.

— Ну чего встали, как бараны, — сказала она негромко, и женщины раздвинулись, будто она открыла в них шлюзы. — Вон. Все вон. Невесте воздуху надобно.

— Так ведь, Агафьюшка, причитать положено до самой бани…

— Положено им. Вон, говорю. Потом дорыдаете, горе ваше не убежит.

Они вышли гуськом, оглядываясь. Последняя, та самая, с платком, на пороге всё-таки всхлипнула: на всякий случай, чтобы не пропадать репетиции. Дверь закрылась. Стало тихо, и в этой тишине было слышно, как трещит свеча.

Старуха подошла к кровати и посмотрела на меня. Долго, не моргая, как смотрят на товар, который принесли с рынка и который вроде бы тот, а вроде бы нет.

— Ну? — сказала она.

— Голова болит, — сказала я, потому что это было единственное, что я знала точно.

Она приложила к моему лбу сухую ладонь. Ладонь пахла луком и воском.

— Не горячая. — Она нахмурилась. — А глаза мутные. Ты меня видишь?

— Вижу.

— Кто я?

Я открыла рот. Я совершенно не представляла, что отвечать. В голове крутилось «бабушка», «санитарка», «женщина из очень дорогого исторического клуба», и всё это явно было неправильно.

— Агафья, — сказала я наконец. Это она сама назвала минуту назад, и я ухватилась за имя, как за перила. — Ты… вы…

— Мамка я твоя. С пелёнок тебя выхаживала. — Она сощурилась. — Раньше ты звала меня Агашей.

— Агаша, — послушно повторила я.

— Раньше, — сказала она и замолчала.

Мне хватило полсекунды, чтобы понять: она всё заметила. Не то чтобы поняла, что именно, но заметила. Как человек, который тридцать лет знает, где в доме скрипит каждая половица, и вдруг слышит новый скрип.

Агафья перекрестилась, быстро и деловито, как другие поправляют юбку. Потом отошла к сундуку у стены, пошарила в нём и вернулась с круглой штукой на ручке, завёрнутой в тряпицу.

— На, глянь на себя. Может, вспомнишь.

Это было зеркало. Не стеклянное: плоский диск начищенного металла, тёмно-золотистый, чуть мутный. Я взяла его левой рукой и увидела, как Агафья на секунду задержала на ней взгляд. Потом ничего не сказала. Но я запомнила.

Из зеркала на меня смотрела девушка лет восемнадцати.

Круглое лицо, светлая кожа, брови тёмные, прямые, густые, глаза серые, чуть раскосые, губы пухлые. Красивая. Неприятно красивая, как красивы героини, которых в кино берут на роль утопленницы. Я никогда не была такой. Я была обычной: острый нос, веснушки, вечные синяки под глазами от недосыпа.

Я подняла руку и потрогала щёку. Девушка в зеркале сделала то же самое.

«Так, — сказала я себе. — Спокойно. Давай по порядку. Ты в бреду. Или в коме. Или в очень дорогом квесте. Выбери, что тебе нравится, и действуй дальше».

Мне нравилось «квест». Но от этого сильнее пахло воском.

— Какой сегодня день? — спросила я. Голос вышел чужой, выше и мягче моего.

— Дак сегодня и есть, — сказала Агафья.

— Что есть?

— Свадьба, Настенька. Господи помилуй, ты что, и это забыла?

Свадьба. Вой, платки, слёзы по расписанию. Конечно. Меня оплакивали, но не потому, что я умерла, а потому, что так принято. Кажется, где-то в университете мне про это рассказывали. Причитания невесты, прощание с девичеством. Я тогда писала в конспекте «обряд», рисовала рядом цветочек и думала про обед.

— Чья свадьба? — спросила я, хотя уже понимала, что вопрос глупый.

— Твоя.

— С кем?

Агафья помолчала. Это было самое неприятное молчание за всё утро: она не искала слов, она их выбирала, как выбирают, на какую доску можно наступить.

— За Басманова, — сказала она наконец, ниже и тише. — За Фёдора Алексеича. За младшего.

И перекрестилась ещё раз, и от этого мне стало совсем нехорошо.

Я знала это имя.

Не просто слышала: знала. На втором курсе была лекция про опричнину, и нам задали реферат по любому деятелю на выбор. Я взяла Басманова, потому что в списке он шёл первым

и не надо было листать дальше. Написала страниц десять. Получила четвёрку с минусом. Преподаватель на полях красной ручкой отметил: «Много воды, мало источников».

Я помнила одну строчку из заключения, которую сама же и написала, потому что нужно было чем-то закончить. «Погиб в 1570 году по приказу царя».

Тогда мне казалось, что это очень давно.

— Ты только вот что, — сказала Агафья совсем тихо, наклонившись так близко, что я увидела у неё в глазах собственное чужое отражение. — Ты, Настенька, ему в глаза не смотри. Говорят, он этого не любит.

Я кивнула.

У меня была четвёрка с минусом, десять страниц воды и ни малейшего представления, что было дальше.

Глава 2

Одевали меня почти два часа, и за это время я выучила три вещи.

Первое: нижнего белья в шестнадцатом веке меньше, чем я привыкла, а верхнего заметно больше. Второе: на свете не существует такого количества булавок, чтобы я перестала бояться, что что-нибудь отвалится. Третье: когда невесте нужно поправить рубаху, ей не говорят «поправь», ей говорят «стой». И она стоит.

Стоять я умела. Реставраторы народ терпеливый, мы можем сутки смотреть на один квадратный сантиметр. Правда, обычно в футболке.

Теперь на мне была рубаха, тонкая, как папиросная бумага, потом ещё одна, потом красное платье до пола, расшитое золотом так густо, что я быстро перестала считать это украшением. Это был металл. Килограммов десять, прикинула я, не меньше. Рукава свисали ниже колен, и в них, наверное, можно было спрятать небольшого ребёнка. Я решила в рукава не заглядывать.

Девушек вокруг меня крутилось четверо, и все четыре смотрели на меня сбоку, украдкой, как на человека, который вчера был одним, а сегодня другим. Я их понимала. Я бы и сама на себя так смотрела.

Командовала всем Агафья. Она не повышала голоса, но стоило ей дёрнуть бровью, как одна из девушек бросалась за лентой, другая за иглой, а третья вообще выскакивала из комнаты, будто так и надо.

— Ты вот что, — шепнула она мне, когда остальные отвернулись, — спрашивай меньше. А если что, говори: «от жара не помню». Они дуры, но не слепые.

— От какого жара? — тоже шёпотом спросила я.

Агафья посмотрела на меня с лёгкой жалостью, как на ребёнка, который зашёл не в ту комнату.

— Седмицу ты в жару лежала. Лекаря звали, попа звали, одну только бабку-знахарку Борис Фёдорович не пустил: греха боялся. Думали, не вытянешь. А нынче очнулась, вот тебе и свадьба. Жениха-то не отложишь.

Седмицу. Неделю. Значит, где-то в этом доме неделю лежало тело, в которое я заглянула только сегодня. Я хотела спросить, где всё это время была я сама, но вовремя поняла, что вопрос звучит неудачно.

— А почему не отложишь? — спросила я вместо этого.

— Потому что он сказал «до Филиппова поста». — Агафья втыкала мне в волосы что-то острое. — А после поста у него другие дела будут.

Какие именно дела, она не пояснила. Я не стала спрашивать.

Ноябрь, значит. До Филиппова поста, то есть до середины ноября. Опричнину объявили в феврале шестьдесят пятого, это я помнила твёрдо: один из немногих фактов, которые уцелели в голове после того реферата. Значит, мы в самом начале. Все ещё думают, что это ненадолго.

Все, кроме тех, кто потом читал учебник.

Косу мне расплели. Расчёсывали долго, под песню, которую полагалось подпевать. Слов я не знала, поэтому только мычала в тех местах, где остальные тянули ноту. Агафья услышала, метнула в меня быстрый взгляд и сама затянула громче, чтобы перекрыть. Я мысленно записала ей первый плюс.

Сверху надели жемчужную сетку, потом что-то твёрдое и высокое, вроде короны из парчи (я быстро поняла, что ходить в нём придётся ровно, иначе уедет), и последним накинули покров.

В моё время это называлось бы «фата». Но фата это что-то воздушное, а покров был плотный, золотисто-красный, свисал до пояса, и сквозь него я видела мир как через окно старого поезда: свет есть, очертания есть, лиц нет.

— Так и надо, — сказала Агафья, заметив, как я дёрнулась. — Невесту закрывают, чтоб глаз не сглазил. А жених откроет, когда время придёт.

Я подумала, что это самое практичное из всего, что я слышала за утро. Если не видно лица, то не видно и того, что я совсем не та, кого они ждут.

Отец ждал внизу.

Я никогда его не видела, но узнала сразу, как узнают человека по походке на другом конце улицы. Борис Фёдорович Морозов стоял посреди горницы, высокий, сутулый, с седой, неровно подстриженной бородой, и держал в руках что-то, завёрнутое в красный плат. Руки у него были большие, красивые, с набухшими венами, и они дрожали. Он старался, чтобы я не заметила, и от этого дрожали ещё заметнее.

Мать, как я поняла из обрывков разговоров, умерла давно. Остались он, Агафья и дочь, и теперь дочь уходила.

— Настасья, — сказал он.

— Батюшка, — ответила я. Слово получилось деревянное, но он не заметил.

Он развернул плат. Под ним оказалась икона.

Я не сразу поняла, что вижу. А потом поняла так резко, что колени чуть не подогнулись под десятью килограммами золота.

Одигитрия. Та самая. Богородица, указывающая на Младенца, с тёмным глубоким взглядом, в красном мафории, на золотом фоне. Но не та, что лежала у меня на столе. Эта была живая: золото горело так, что резало глаза, краски без копоти, лицо без патины. Не пятьсот лет, а лет тридцать, может быть. Её ещё не перестали считать новой.

А в левом нижнем углу, у самого края, шла трещина.

Тонкая, как волос. Тёмная по краям, светлая внутри. Та самая.

— Родовой образ, — сказал отец. Голос у него дрожал, как и руки. — От прабабки твоей. Благословлять буду. — Он помолчал. — Трещина вот… седмицу назад пошла. В ту ночь, как ты слегла. Я велел никому не говорить, дурной знак…

Седмицу назад. У меня трещина появилась в час ночи, когда я полезла за тампоном. У них неделю назад. Значит, время здесь шло по другому календарю, и тот, кто его вёл, не потрудился меня предупредить.

— Дурной знак, — повторила я.

— Не бойся, — сказал отец, и я поняла, что боится он сам. — Это просто дерево. От сырости.

Он поднял икону. Я склонила голову, как положено, и он перекрестил меня образом, раз, другой, третий. Рука у него ходила ходуном, и край иконы больно ткнул меня в лоб.

— Прости меня, Настасья, — сказал он тихо, так, что слышала только я. — Он сам пришёл. Сам попросил. С такими не торгуются. Либо отдаёшь, либо…

Он не договорил. Не стал говорить «либо нас всех». Не надо было.

— Зато нас не тронут, — продолжил он, будто убеждая себя. — Морозовых не тронут. Он слово дал.

Мне хотелось сказать что-нибудь правильное. Что я понимаю, что я справлюсь, что всё будет хорошо. Но я знала историю. Я знала, чего стоят слова, которые дают такие люди.

— Я справлюсь, батюшка, — сказала я.

Он вздрогнул. Посмотрел на меня как-то странно, быстро, и отвёл глаза. И я поняла, что сказала не то. Настоящая Анастасия, наверное, плакала бы или молчала. А я стояла прямая, как кол, и говорила ровным голосом.

Но он не стал спрашивать. Только сжал мне плечо, коротко, до боли, и отпустил.

Во двор меня вывели под руки. Снег лёг ночью, ещё чистый, скрипучий, и от одного его вида стало легче: хоть что-то в этом дне пахло знакомо. У ворот стояли сани, крытые красным сукном, в упряжке две серые лошади, а вокруг толпилась челядь с таким видом, будто присутствует на казни, только нарядной.

В санях рядом со мной села Агафья, с другой стороны какая-то тётка в бобровой шубе, дальняя родня, как мне объяснили шёпотом. Тётка всю дорогу молчала и перебирала чётки с такой скоростью, что я начала считать бусины. Дошла до двухсот пятидесяти и сбилась.

Москва шестнадцатого века слышалась лучше, чем виделась. Покров глушил краски, но не звуки: скрип полозьев, лай собак, крики торговцев, где-то далеко колокол, тяжёлый, как удар в грудь. Пахло дымом, навозом, печёным хлебом и чем-то горелым, жирным. Кто-то выкрикивал «пирожки с зайчатиной», и я с удивлением поймала себя на том, что хочу пирожок. С зайчатиной. Нервы.

Я приоткрыла покров с краю, самую малость, и выглянула. Срубы, резные наличники, мостовая из брёвен, снег на крышах, вдали купола. И люди. Их было много, и все расступались перед санями. Не потому, что мы такие важные. Потому что впереди нас двигалось что-то ещё.

Я увидела их через минуту.

Всадники в чёрном. Двенадцать, может, пятнадцать. Чёрные кафтаны, чёрные шапки, чёрные кони, и у каждого к седлу приторочено что-то длинное. Я пригляделась. Метла. А рядом, на шнуре, голова. Собачья. Настоящая, с оскаленными зубами, высушенная до серой кожи.

Я про это читала. Строчка из той же методички: «символика опричнины: собачья голова и метла, означавшие готовность грызть врагов и выметать измену». Тогда мне это показалось пафосным и даже немного смешным.

Теперь это ехало перед нашими санями, и я смотрела на высушенную морду, которая подпрыгивала у чьего-то седла на каждой кочке, и ничего смешного не находила.

— Не высовывайся, — прошипела Агафья и дёрнула покров вниз.

Это был не просто эскорт, поняла я. Это был конвой. Жених прислал своих людей, чтобы невесту привезли в церковь целой и вовремя. Вежливо, надо отдать должное.

Церковь оказалась небольшая, каменная, с низкими сводами, пахнущая ладаном и воском. Внутри было прохладно и очень тихо. Я ждала шума, гостей, шёпота: боярская свадьба, должна быть толпа. А слышала только свои шаги и шорох парчи. Люди были, я чувствовала это: стояли вдоль стен, не двигались, не кашляли.

Никто не кашлял. В церкви, где собралась сотня человек, не кашлял никто.

Меня подвели к аналою. Агафья осталась позади, и я вдруг поняла, как без неё холодно.

Рядом кто-то встал.

Я его не видела. Покров закрывал всё, кроме смутного силуэта справа: высокий, прямой, в тёмном. Я не повернулась и не посмотрела. Шла по Агафьиному правилу и впервые в жизни пожалела, что не умею читать чужие мысли сквозь ткань.

Венчание тянулось долго. Священник пел, хор отвечал, и я делала всё, что мне подсказывали толчками локтя. Встать. Склонить голову. Взять свечу. Свеча в руке ходила ходуном, воск капал на золотой рукав, и я пыталась не думать о том, что это тоже кому-то потом реставрировать.

Его голос я услышала впервые, когда нас спросили. Священник задал вопрос, и рядом, ровно, без запинки, ответили:

— Да, честной отче. Беру.

Низкий. Спокойный. Чуть хрипловатый, как у человека, который только что откашлялся, но не до конца. Не злой и не добрый. Вежливый. В нём не было ничего, что подтверждало бы шёпот Агафьи, и от этого было только страшнее.

Потом спросили меня.

Горло пересохло так, что я почувствовала каждую его складку. Я сглотнула, и в этой тишине это прозвучало как выстрел.

— Да, — сказала я. — Беру… то есть… согласна.

За спиной кто-то кашлянул. Один раз, и тут же затих. Священник кашлянул тоже, для проформы. А рядом со мной, как мне показалось, едва заметно выдохнули. Может быть, усмехнулись. Через ткань не разобрать.

Дальше был кубок с вином. Мне подали, я отпила, не разбирая вкуса. Потом поднесли жениху. Он выпил, бросил кубок на пол и, как положено, наступил каблуком. Хруст вышел громким и чётким, и повис над церковью, как приговор.

— На счастье, — неуверенно сказал кто-то, и по рядам прошёл вздох.

Мы прошли ещё круг, потом ещё один, ещё одна молитва. Венцы держали над нашими головами, и мне казалось, что мой вот-вот съедет, как та парча. Руки затекли, спина ныла, и где-то на середине обряда я поймала себя на мысли, что хочу есть. Просто есть. Хлеб, например. Это было так по-человечески нелепо, что я едва не рассмеялась.

Смеяться не вышло. В тот же миг мне взяли руку.

Пальцы у него оказались холодными, сухими и очень крепкими. Он не сжал мою ладонь. Он просто держал её, и в этом было что-то, от чего по спине у меня прошёл мороз.

— Вы не плакали, — сказал он вполголоса.

Только мне. На расстоянии вдоха. Так, что даже священник не расслышал.

Голос тот же: ровный, вежливый, чуть хрипловатый. Но теперь в нём появилось что-то ещё. Интерес. Не тёплый и не мягкий, а холодный и внимательный, как у человека, который нашёл в знакомой книге чужую пометку на полях.

— Невесты плачут, — продолжил он. — Так принято. Мне донесли, что вы единственная невеста в Москве, которая сегодня утром не выла.

Под покровом у меня пересохло во рту.

— Ещё мне донесли, что вы неделю не вставали с постели, — добавил он. — И вот. Стоите ровно. Как будто сто лет в этом ходили.

Он замолчал. Пальцы всё так же держали мои, не сжимая.

— Любопытно, — сказал он.

Он сказал это так, будто спрашивал о погоде. И так, будто уже знал ответ.

Глава 3

Дом Басмановых оказался больше, чем должен быть дом человека, которому двадцать пять лет. Раза в три.

Покров открыли за столом. Не сразу: сначала нас усадили в два высоких кресла во главе, поставили перед нами хлеб, сыр и серебряную солонку, и к нам по очереди подходили гости, кланялись и говорили что-то длинное и благостное про детей и долгие лета. Я кивала сквозь ткань. Слов не разбирала. В ушах стоял гул, как в аквариуме.

Потом гул стих, и кто-то сказал: «Пора».

— Это для этого, — шепнула Агафья из-за плеча. Она каким-то образом оказалась у меня за спиной, хотя прислуге вроде бы не место у главного стола.

Дружка, плотный дядька с красным лицом и огромными усами, протянул Фёдору стрелу с шёлковым оперением. Тот взял её так, как берут вещи, которые не любят: двумя пальцами, чуть брезгливо. Подцепил край покрова. И потянул.

Свет ударил так резко, что я зажмурилась. Свечей в зале было, наверное, сотня, и после рыжей полутьмы под тканью это был почти удар. Когда глаза привыкли, я увидела длинные столы, парчу, серебро, лица. Много лиц. Все смотрели на меня.

А потом я повернула голову и посмотрела на него.

Агафья велела не смотреть. Я собиралась послушаться, честное слово, собиралась. Но тут такое дело: если вас три часа водят с мешком на голове, а потом снимают мешок, вы смотрите на первое, что видите, и вряд ли успеваете вспомнить инструкции.

Он оказался красивым. Агафья не соврала, хотя и не сказала главного: он был красив так, как красив хорошо заточенный нож. Бледный, тёмные волосы до плеч, острые скулы, ресницы, которым позавидовала бы любая актриса. Глаза серые, но не мягкие, а как зимнее небо перед снегом. На нём был кафтан цвета старого вина, расшитый серебром, и ни одного лишнего движения. Он сидел так, как сидят люди, которым давно объяснили, что каждое движение кто-то записывает.

Мы смотрели друг на друга секунды три. Я потом считала.

Он не отвёл взгляд. Не вспыхнул, не рявкнул. Только чуть приподнял одну бровь, на полмиллиметра. Но у меня профессиональная деформация, я привыкла замечать мелочи, и я заметила: он понял, что я смотрю. Понял, что мне наверняка велели не смотреть. И понял, что я всё равно смотрю.

— Любопытно, — произнёс он одними губами, без звука.

Я отвела глаза. Не от страха. Просто мне вдруг стало неловко, как будто я вломилась в чужую комнату и увидела на столе что-то личное.

— Ну, глядите-ка, — гулко сказал кто-то слева, — какого сокола нам Бориска вырастил!

Это был Алексей Басманов. Я поняла это сразу, хотя никто не представлял: он был таким, каким должен быть отец такого сына. Огромный, широкоплечий, с густой бородой с проседью и громким довольным голосом человека, привыкшего, что его слышно с любого конца стола. Глаза маленькие, цепкие, весёлые. Самые страшные глаза в зале, подумала я. Потому что смеялись они отдельно от остального лица.

— Неделю в жару лежала, а глаза-то какие! — продолжал он, ухмыляясь. — Как у кречета! Фёдор, ты гляди, она тебя щас склюёт!

По залу прокатился смех, густой, облегчённый. Я поняла, что он сделал это нарочно. Одной шуткой снял напряжение, которое висело над столом, как грозовое облако, как опытный хирург делает надрез. Мне стало не по себе: это было очень ловко.

— Не склюю, батюшка, — сказала я, потому что надо было что-то сказать. — Я сыта.

Я соврала. Я была голодна как волк.

Смех стал громче. Алексей Басманов хлопнул ладонью по столу, и подпрыгнули кубки.

— Остра! — объявил он. — Остра, а! Фёдор, держись!

Фёдор ничего не сказал. Но у него дёрнулся уголок рта, один раз, и тут же вернулся на место.

Дальше пошёл пир. Подавали одно за другим: лебедя в золочёной глазури, осетров длиной с мою руку, пироги, пироги, пироги, каши, меды, брагу, заморское вино в серебряных кувшинах. Запахи стояли такие, что у меня заурчало в животе, и я прикрыла его рукавом. На столе передо мной стояла тарелка с пирогом. С зайчатиной, как выяснилось по запаху.

Я потянулась.

Агафья, стоявшая за креслом, наступила мне на подол.

— Не положено, — прошипела она, почти не шевеля губами. — Молодым за столом не едят. Хлеб да соль только. Курицу вам ночью дадут, с собой.

— Какую ещё курицу?

— Жареную. Так положено, чтоб силы были. Сиди.

Я села. Смотрела на пирог с зайчатиной, как на любовь всей жизни, которую увозят на поезде.

Плакать не хотелось. Но почти.

Где-то на середине пира поднялся человек.

Лет сорока, худой, с лисьим лицом и перстнями на каждом пальце, в кафтане такого яркого зелёного цвета, что казался не одеждой, а предупреждением. Окольничий Крюков: имя мне шепнула Агафья, не поворачивая головы, тем тоном, каким называют сорт яда. Он поднял кубок и заговорил, медленно, с растяжкой, любуясь каждым словом.

— Хочу выпить, — сказал он, — за нашего Бориса Фёдоровича. Человека мудрого. Вчера сидевшего в земщине, нынче вошедшего в опричнину и, как видим, не прогадавшего. Вот что значит вовремя угадать, куда ветер дует.

За столом стало тихо. Не так, как в церкви, а по-другому: сухо, остро, как перед тем, как лопнет стекло. Я не знала всех нюансов, но поняла главное: шутка была не шуткой. Это было «ваш тесть переметнулся, потому что струсил». Прямо на свадьбе, при всех, в доме Басмановых.

Отец, Борис Фёдорович, сидевший где-то с краю, побелел. Рука у него вздрогнула так, что вино плеснуло на скатерть.

Алексей Басманов смотрел на Крюкова всё тем же смеющимся лицом и совсем несмеющимися глазами.

А Фёдор встал.

Не резко. Просто поднялся с кубком в руке, и в зале вдруг стало слышно, как скрипит его кафтан.

— Афанасий Гаврилыч, — сказал он негромко, и я поняла, что именно такой тон приводил в трепет Москву. Вежливый. Ровный. Почти ласковый. — Вы совершенно правы. Ветер дует. Я рад, что вы так хорошо его чувствуете. Думаю, всем нам стоит почаще проверять, не дует ли он у кого-нибудь за спиной.

Он улыбнулся. Не злобно. Приветливо. Это была самая страшная улыбка из всех, что я видела.

— За вашу проницательность. Пейте.

Крюков выпил. Лицо у него стало серым, потом пошло пятнами. Рука с кубком дрожала. Он сел и до конца вечера больше не поднимался.

Я смотрела на Фёдора. Он снова сидел ровно, невозмутимо, и разламывал хлеб. И я подумала: так вот что значит «опричник». Не плеть и не собачья голова. Вот это. Две фразы, и человек будет бояться всю ночь.

Ещё я подумала, что Крюков, скорее всего, этой зимы не переживёт. Не знала почему. Просто такое чувство бывает у реставратора, когда на фреске видишь трещину и понимаешь, что стена рухнет раньше, чем ты закончишь работу.

Ближе к полуночи за мной пришли женщины. Впереди несли блюдо, накрытое белым полотенцем, торжественно, как мощи.

— Идём, — шепнула Агафья. — Пора. И курицу не забудь.

Опочивальня оказалась маленькой и тёплой. Низкий потолок, изразцовая печь в углу, широкая кровать под балдахином и красный угол с иконой и лампадкой, которая мерцала, как больной светлячок. После зала, где все кричали, здесь можно было услышать, как дышит собственное тело.

Меня раздели быстро, чужими руками и под чужие голоса. Сняли золото, сняли жемчуг, сняли парчу. Остались длинная белая рубаха и ощущение, что мне стало меньше ровно на десять килограммов. Косу, которую утром расплетали, теперь заплели иначе: надвое. Две косы вместо одной.

— Теперь ты мужняя жена, — сказала одна из женщин с таким удовлетворением, будто наконец нарядила ёлку, которую давно хотела нарядить.

Потом они ушли, переглядываясь и фыркая, и я осталась одна.

На столе у окна стояло блюдо. На блюде лежала курица. Целая, жареная, золотая, с блестящей коркой. Рядом хлеб и кувшин с вином. Я смотрела на неё минуты две, честно. Я пыталась не есть.

Через две минуты сдалась.

Рассуждение моё было простым и, по-моему, безупречным. Первое: я умираю с голоду. Второе: мне предстоит разговор, к которому я совершенно не готова, и на голодный желудок я его точно не вытяну. Третье: Агафья сказала «силы надо», а Агафье в этом доме я пока доверяла больше, чем всему остальному населению шестнадцатого века, вместе взятому.

Я оторвала ногу.

Пахло так, что я чуть не заплакала, вот теперь по-настоящему. Корочка хрустнула, сок потёк по пальцам, и я, забыв про всё на свете, откусила как следует.

Дверь открылась.

Я замерла с куриной ногой во рту.

Он вошёл без шума, остановился на пороге и посмотрел на меня. Я посмотрела на него. Между нами было шесть шагов, полутьма и курица.

— Простите, — сказала я с набитым ртом. Получилось: «Прфти».

Он помолчал. Потом закрыл за собой дверь.

— Не извиняйтесь, — сказал Фёдор. — Мне сказали, что молодым нельзя есть за столом. Но не говорили, что это нужно делать в одиночку.

Я прожевала. Проглотила. Подумала, что у меня наверняка жир на подбородке и что это худшее начало семейной жизни в истории человечества.

— Вы голодны? — спросила я, потому что нужно было что-то говорить. — Там… много.

Он вдруг, совершенно неожиданно, чуть усмехнулся. Не губами, а глазами.

— Благодарю. Я на пиру ел.

— Вам повезло. Мне пирог с зайчатиной не дали.

— Пирог с зайчатиной, — повторил он, будто записывая. — Учту.

Он прошёл к столу, снял кафтан, аккуратно повесил на спинку стула и сел напротив меня. Не рядом и не ближе. Напротив, через стол. Налил себе вина, но не пил. Просто держал кубок в руке, как держат оружие, которое сегодня применять не собираются.

— Нам надо поговорить, — сказал он. — Такой разговор будет один, поэтому слушайте внимательно. Вы всё равно сделаете вид, что не слушаете, но это не страшно.

Я вытерла руки о подол рубахи. Села прямее.

— Я вас не трону.

Я не сразу поняла, что услышала. Потом поняла. Поняла так, что чуть не выронила куриную ногу.

— Не потому, что вы мне неприятны, — продолжил он тем же ровным голосом, — а потому, что это невыгодно. Жена, которая меня боится, расскажет всё первому, кто спросит. А у меня, Анастасия Борисовна, спрашивают часто. Жена, которая меня не боится, может быть полезна. Вопрос в том, насколько.

— Вы всё время говорите «выгодно», — сказала я.

— Я человек практический.

— Вы… женились на мне из-за выгоды?

— Я женился на вас, потому что при дворе слишком много говорят, — сказал он. Просто, как о погоде. — Женатый человек говорит меньше. Про него тоже. Ваш отец тих и напуган, а такие семьи не доставляют хлопот. — Он посмотрел на меня. — Мне казалось, что и вы тихая.

Я промолчала. «Тихая» было не обо мне.

— Но сегодня утром вы не плакали. За столом вы смотрели на меня, хотя вам, я уверен, велели не смотреть. И вы ответили моему отцу так, что он потом полчаса хохотал. — Он слегка склонил голову. — Три недели назад вы убегали от моей собаки.

У меня внутри что-то ёкнуло.

— От собаки?

— Я приезжал свататься. Пёс увязался за мной во двор, огромный, рыжий. Вы вышли на крыльцо, увидели его и убежали за няню. Вцепились ей в юбку так, что она потом неделю ходила с оборванным подолом. — Он выдержал паузу. — А сегодня утром вы проехали мимо двенадцати собачьих голов у сёдел и даже не вздрогнули. Мне доложили.

Мне показалось, что воздух в комнате стал на пару градусов холоднее.

Он смотрел на меня и ждал. Не угрожая. Просто ждал, как человек, который выложил на стол карты и хочет посмотреть, каким ходом ответят.

Нужно было соврать, и соврать правдоподобно. Я знала одно: когда не знаешь, что говорить, говори что-нибудь близкое к правде.

— Я неделю лежала в жару, — сказала я медленно. — Агафья думала, не выживу. Я тоже так думала. Знаете… когда однажды стоишь близко к краю, многое перестаёт пугать. Собаки тоже.

Фёдор молчал. Лампада потрескивала.

— Да, — сказал он наконец. — Говорят, так бывает.

Мне показалось, что он что-то записал про себя. Не поверил и не опроверг. Просто положил в нужную папку, чтобы вернуться.

Он допил вино, поднялся и взял кафтан.

— Спите. Я переночую в соседней комнате. Утром женщины придут проверять постель, поэтому её нужно будет… — он на секунду запнулся и, кажется, впервые за вечер выбрал слово осторожно, — привести в соответствующий вид. Об этом позаботится Агафья. Она, по-моему, умнее всех в вашем доме.

— Она мамка моя, — сказала я.

— Она умная, — повторил он, и я поняла, что это было не просто замечание. Это была запись про Агафью.

У двери он остановился. Повернулся, не до конца. В свете лампады его профиль казался вырезанным из одного куска бледного камня.

— И ещё, — сказал он. — Раз уж мы договариваемся. В этом доме стены слушают. Не все, но достаточно. Единственная комната, где можно говорить свободно, это эта, и только ночью, когда дверь закрыта. Запомните.

— Хорошо, — сказала я.

— Дверь, — добавил он, — запирается снаружи. Изнутри в этом доме не запирается ничего. Ни двери, ни слова. Спокойной ночи, Анастасия Борисовна.

Он вышел. Шагов за дверью я не услышала.

Я сидела в чужой рубахе, с двумя чужими косами и куриной ногой в руке и смотрела на дверь, которая не запиралась изнутри.

Курицу я, кстати, доела.

Глава 4

Я проснулась оттого, что кто-то стоял над кроватью и держал нож.

В первую секунду я решила, что это конец, причём дурацкий: пережить венчание, пир и разговор с человеком, которого боится вся Москва, а потом погибнуть на второй день от ножа в собственной спальне. Потом я разглядела лицо и выдохнула. Нож держала Агафья.

— Тихо, — сказала она. — Не вскакивай. Дело у нас.

— Какое?

Она не ответила. Села на край кровати, закатала рукав, посмотрела на меня исподлобья, будто решала, сколько мне можно рассказать, и быстро, коротко, не поморщившись, провела лезвием по ладони.

Я ахнула. Агафья шикнула. Кровь выступила тёмной полоской, и она деловито, как хозяйка, которая подметает пол, прижала ладонь к простыне, повозила, потом аккуратно смяла ткань так, чтобы всё было на виду. Обмотала руку тряпицей.

— Бабы придут через полчаса, — сказала она. — Смотреть будут. Пусть смотрят.

Я села. Горло перехватило.

— Агафья. Не надо было. Я бы…

— Что ты бы? — Она взглянула на меня, и я вдруг поняла, что она всё поняла ещё вчера. — Он тебя не тронул. Я так и знала. Видела по лицу, когда вы из церкви шли. Человек, который… — она махнула здоровой рукой, — так не смотрит. Он на тебя смотрит как на задачу.

— Агафья, я должна сказать…

— Нет.

Слово упало, как крышка на кастрюлю.

— Не говори, — повторила она тише. — Я не спрашиваю. Я тебя от пелёнок знаю, каждый твой вздох, каждую ссадину. Седмицу назад ты в жару лежала, а очнулась другая. Глаза те же, а смотрят иначе. Руки те же, а берут не так. Говоришь не так. Ругаешься не так: вчера, когда я тебе булавку в волосы воткнула, ты сказала «блин». Я полночи думала, что это за блин такой и почему им ругаются.

Я закусила губу, чтобы не расхохотаться. Или не расплакаться. Было не разобрать.

— Не моего ума, что там тебя носило, — продолжала Агафья. — Бог разберёт. Только вот что я тебе скажу, и слушай. Что бы с тобой ни стряслось, ты мне всё равно моя девочка. А при людях будь той, какой они тебя знают. Хоть старайся.

Я кивнула. Говорить не могла.

— И блинами не ругайся, — добавила она. — Народ решит, что ты бесноватая.

Вот так я поняла, что у меня в этом веке есть один союзник. Без образования, с порезанной ладонью. И лучше всего остального, что у меня здесь было.

Ключи мне передавали после обеда.

Это, как объяснила Агафья, была главная часть первого дня замужней жизни: молодая хозяйка принимает дом. Ключи от кладовых, погребов, амбаров, сундуков. Считается, что кто держит ключи, тот держит хозяйство. Мать Фёдора умерла давно, и дом всё это время вёл дворецкий.

Звали его Прохор Силыч. Сухой, прямой, лет пятидесяти, с серым лицом человека, который не тратит эмоций на то, что не приносит прибыли. Связку он вынес на подушке, как корону, и протянул мне, глядя куда-то поверх моей головы.

— Хозяйка, — сказал он ровно. — Дом ваш.

За его спиной выстроилась челядь, человек сорок: мужчины, женщины, подростки, и все смотрели на меня с настороженным любопытством, с каким смотрят на новую мебель, пытаясь понять, скрипнет она или нет.

Ключи оказались тяжёлыми. Килограмма два, прикинула я. Очередной металл на мою голову.

Я взяла связку и, как учила Агафья, чуть поклонилась. Прохор Силыч чуть поклонился в ответ. Мы обменялись любезностями, и я поняла, что не нравлюсь ему, он не нравится мне, и в этом вопросе мы единодушны.

Потом меня водили по двору: амбары, поварня, конюшня, ледник. Везде кланялись, везде шептались. Я кивала и ничего не запоминала. А потом из-за угла выскочила туча.

Туча была рыжей.

Огромный пёс, мне по бедро, с широкой лобастой головой и хвостом, которым можно было бы сбивать яблоки с деревьев, нёсся через двор с таким восторгом, будто всю жизнь ждал именно меня. Люди за моей спиной ахнули разом. Кто-то крикнул: «Бес!» Кто-то охнул: «Спаси Господи!» Агафья вцепилась мне в рукав.

Я знала, что должна была сделать настоящая Анастасия. Закричать и убежать за няню.

Но я с шести лет клянчила у родителей собаку и к двадцати трём так и не получила, поэтому на любое четвероногое реагировала так, как другие реагируют на запах пирожков.

Я присела на корточки. Он врезался в меня всем телом, я чуть не упала, и он облизал мне всё лицо одним широким движением, и я засмеялась. По-настоящему, впервые за двое суток.

— Привет, — сказала я. — Привет, хороший. Ты кто? Бес? Какой же ты Бес, ты ангел.

Бес повалился на спину и подставил живот. Я почесала. Он закатил глаза, как человек на хорошем массаже.

Во дворе стало так тихо, что слышно было, как в курятнике одна курица пытается снести яйцо.

Я подняла голову. Люди смотрели на меня. Прохор Силыч смотрел на меня. Агафья, кажется, перестала дышать. А на крыльце, прислонившись плечом к столбу, стоял Фёдор. Он вернулся из какой-то поездки, ещё в дорожном плаще, и судя по лицу, стоял там уже довольно давно.

— Он вас раньше не любил, — сказал он негромко.

Не вопрос. Констатация.

— Он меня и не знал, — ответила я. — Собаки сразу понимают, кто хороший.

— Бес. Ко мне.

Пёс поглядел на хозяина. Потом на меня. Потом снова на хозяина, и в его морде отразилась такая мука выбора, что я чуть опять не засмеялась. Бес остался лежать на спине у моих ног.

Фёдор вздохнул. Лицо его осталось непроницаемым, но уголок рта дёрнулся, как вчера, и вернулся на место.

— Предатель, — сказал он псу почти ласково и ушёл в дом.

Про книги я вспомнила вечером, и совершенно случайно.

Меня привели в кладовую, где под замком хранилось всё самое ценное: серебро, меха, запасы воска, и среди этого добра лежали свитки. Длинные, свёрнутые в трубки, перевязанные тесьмой. Столбцы, как их здесь называли: приходо-расходные записи по дому. Кто что купил, кому что заплатили, сколько ушло на овёс, воск и мёд.

Моя профессиональная часть сработала раньше, чем голова. Я просто протянула руку.

— Покажите.

Прохор Силыч, стоявший рядом с лампой, не двинулся.

— Хозяйке книги не показывают, — сказал он. — Хозяин сам смотрит.

— Хозяин уехал, а ключи у меня. — Я позвенела связкой, и она звякнула очень убедительно. — Дом я приняла вместе с ключами. Значит, и с книгами.

Он помолчал секунд пять. Это были долгие пять секунд, за которые, подозреваю, пересчитывались все возможные последствия отказа и все возможные последствия согласия. Потом он молча достал свиток из сундука и протянул.

Я развернула его у окна, где было больше света.

Почерк был ровный, писарский, аккуратный: «купили сукна, три аршина, заплачено столько-то», «воску на свечи», «овса на конюшню». Бумага шла плотная, желтоватая, чернила тёмно-коричневые, с той самой ржавой окисью, которая бывает у железо-галловых чернил. Я такие видела сотни раз. У них есть свойство: свежие чернила чёрные, а за несколько месяцев буреют. По цвету можно прочесть возраст строки так же, как возраст дерева по кольцам.

И вот тут я увидела: в нескольких строках цвет не совпадал.

Совсем чуть-чуть. Основной текст бурый, а в сумме справа, там, где писались цифры, у четырёх строк чернила были темнее, свежее. Я поднесла свиток к окну, к свету. Бумага в этих местах чуть проседала, слегка, как кожа после царапины: там что-то скоблили. Подчистка. Потом сверху вписали другое число.

Четыре строки за последние три месяца. Все под одной статьёй: «на разные нужды». И суммы в них были такие, что за них можно было прокормить небольшую деревню.

Я подняла глаза. Прохор Силыч стоял неподвижно, и лицо его оставалось серым, ровным, бесстрастным. Но у него было одно слабое место, которого он не умел скрывать: шея. Он сглотнул, и по шее прошла волна.

Я могла бы сказать: «Вы воруете». Любая другая на моём месте, наверное, так бы и сказала, или заорала бы, или побежала жаловаться мужу. Но я смотрела на его шею, на то, как он стоит, как держит руки, как не смотрит на меня, и у меня появилось странное, очень отчётливое чувство, что это не страх вора.

Это был страх человека, который выполняет приказ, который ему не нравится.

— Писарь, видно, ошибся, — сказала я мягко. — Подчистил. Бывает.

Он медленно, очень медленно выдохнул.

— Хозяин велел, — сказал он тихо.

— Тогда пусть будет, как велел.

Я свернула свиток и вернула ему. Он принял его двумя руками, как нечто хрупкое. Посмотрел на меня впервые за весь день прямо, без «над головой». В его глазах мелькнуло что-то новое. Не уважение ещё. Но уже и не презрение.

— Благодарю, хозяйка, — сказал Прохор Силыч.

Я кивнула и вышла. Только за дверью поняла, что у меня дрожат колени.

У нас была договорённость, что говорить можно только ночью. Я дождалась.

Дверь открылась тихо. Фёдор вошёл, снял плащ и остановился: на коврике у кровати, свернувшись калачиком, лежал Бес. Пёс приоткрыл один глаз, вильнул хвостом, но с места не сдвинулся.

— Предатель, — повторил Фёдор уже без особого огня.

— Он сам пришёл, — сказала я. — Я не звала.

— Я знаю. Он перегрыз ремень на конюшне. Теперь придётся новый шить.

Он сел за стол напротив, как вчера. Лампада горела ровно. В комнате пахло воском и тёплым собачьим боком, и это было неожиданно уютно.

— Я хочу вам кое-что сказать, — начала я. — Это можно? Сейчас?

— Нужно.

Я сложила руки на коленях. Репетировала фразу весь вечер и всё равно не знала, как её начать.

— В книгах расходов подчищено. Минимум четыре строки, все в статье «на разные нужды». Подчищали ножом, потом вписывали новое число. Прохор Силыч говорит, что вы велели.

Фёдор не пошевелился. Только чуть сузил глаза.

— Вы смотрели книги.

— Вы мне ключи дали, — сказала я. — Я решила, что это приглашение.

— Продолжайте.

— Подчистка видна на просвет. Чернила разные: основная часть бурая, старая, а правки свежие. Писарь в слове «рубль» пишет «р» с петлёй вправо, у правок петля влево. Я думаю, правил сам Прохор Силыч. Руки у него дрожали, когда я смотрела.

Повисла пауза. Бес вздохнул во сне.

— На просвет, — повторил Фёдор медленно. — По наклону петли.

— Профессиональная привычка.

— Чья?

Я чуть не прикусила язык. Вот она, первая настоящая ловушка за два дня.

— К нам в дом, когда я была маленькая, привозили иконописца, — сказала я. — Он подолгу жил у нас, писал образа для часовни. Я сидела рядом и смотрела. Научилась замечать, как одно чернило отличается от другого.

Было ли это правдоподобно, я не знала. В моём собственном голосе слышалась фальшь, но Фёдор, по счастью, смотрел не на меня, а куда-то мимо, на огонёк лампады.

— Деньги, — сказал он наконец, — идут не вору.

Я молчала. Он говорил медленно, взвешивая каждое слово, и я поняла, что он решается.

— Есть дьяки. Есть холопы в чужих домах. Есть один поп, который слушает исповеди. Они пишут мне о людях. Кто что сказал, кто с кем виделся, кто куда ездил. Им нужно платить, и платить так, чтобы это не было видно в книгах. Но в книгах должно быть всё, иначе Прохор не сведёт концы. Вот и выходит это уродство с подчистками. — Он слегка поморщился. — Прохор человек честный, но писатель из него никудышный.

У меня слегка зашумело в голове. Он только что рассказал мне то, за что можно лишиться головы. Не мне, нет. Ему. Если кто-то узнает.

— Зачем вы мне это говорите? — спросила я.

— Потому что вы бы догадались сами. Вы уже догадались. А жена, которая догадалась, опаснее той, которой рассказали. — Он повернул кубок в пальцах. — Афанасий Гаврилыч Крюков ищет это уже второй месяц. Он подкупил двух моих слуг, чтобы заглянуть в книги, и пока не нашёл ничего. Вы нашли за полдня.

Мне стало нехорошо. Я представила Крюкова, его перстни, его лисье лицо, его кубок с вином, дрожащий в руке.

— Он узнает? — спросила я.

— Если узнает, то не от вас. — Пауза. — Верно?

— Верно.

Он кивнул, будто закрыл в уме какую-то графу. И вдруг, совершенно неожиданно, чуть наклонился вперёд.

— Любопытно, — начал он, и остановился. На лице появилось что-то вроде досады. — Нет. Я говорю это слишком часто. Это слово устарело. Придумайте мне другое.

Я растерялась.

— «Интересно»?

— Слишком слабо.

— «Занятно»?

— Слишком весело.

— «Подозрительно»? — спросила я, потому что устала и потому что слово просто выскочило.

Уголок его рта дрогнул. Задержался на секунду. Не вернулся на место.

— Вот это, — сказал Фёдор, — точнее.

Он встал. Подобрал плащ. Бес, лежавший у моих ног, поднял голову, посмотрел на хозяина, потом снова положил её на лапы.

— Завтра придёт Крюков, — сказал Фёдор уже с порога. — С поздравлением. Улыбайтесь. Говорите мало. Ничего не пейте из его рук.

— А вы? — спросила я.

— Я буду вежлив.

Он вышел. Я осталась сидеть, глядя на закрывшуюся дверь, и вспомнила вчерашний пир: как побелел Крюков, когда Фёдор ему улыбнулся. После вежливости Фёдора люди обычно выглядели именно так.

Бес тихо вздохнул у моих ног, будто тоже всё понимал.

Глава 5

Утром я поняла две вещи. Первая: если тебе предстоит принимать в доме врага, никакая подготовка не поможет. Вторая: Агафья всё равно подготовит.

— Платье синее, — сказала она, вытаскивая из сундука что-то объёмное. — Не красное, красное мы вчера отходили. Синее скромное. Мол, ты тихая, ты ничего не знаешь. Рукава на всякий случай подвяжем, чтоб не лезли в блюда. Волосы под убрус, лицо чистое, никаких румян. Глаза в пол.

— Глаза в пол? — переспросила я. — А как же смотреть на человека, с которым разговариваешь?

— Взглядывай. Но не долго. Раз глянула, опустила, раз глянула, опустила. Как коза у ручья.

— Я не коза.

— Сегодня коза. — Агафья оглядела меня и удовлетворённо кивнула. — Хорошая, скромная, пугливая коза. Такая, из которой нечего выжать.

Она понизила голос.

— И ещё. Дуняшка. Видишь, девка в углу, бельё складывает? Крюков ей полгода назад за пазуху серебряный совал, и она с тех пор у нас всё о всём знает. Мы с Прохором уже поняли, но выгнать нельзя: поймёт, что мы поняли. Так что при ней говори как при Крюкове.

Я посмотрела. В углу действительно возилась светловолосая девчонка лет шестнадцати, с круглым простодушным лицом, и так усердно складывала бельё, что ясно было: слушает.

— Дуня, — сказала я ласково. — Иди-ка отсюда, голубушка, воды принеси.

Она вскинулась, поклонилась и убежала. Агафья посмотрела на меня с выражением, которое я бы назвала профессиональным одобрением.

— А ты, оказывается, умеешь.

— Я учусь, — сказала я.

Крюков приехал после обеда. Сегодня он был в синем: в таком цвете бывает небо перед бурей. С ним пришли четверо слуг, несших какой-то ящик, и все они улыбались с одинаковой лёгкой неискренностью.

Мы с Фёдором встретили его в горнице. Фёдор стоял справа, в тёмном кафтане, с одной рукой на поясе. Утром, перед тем как уйти, он осмотрел меня с головы до ног и сказал только: «Синее. Умно». Я поняла, что выбрала это не я, и что он это тоже понял.

— Хозяйка-госпожа! — Крюков вошёл с раскрытыми руками, словно хотел обнять всю комнату. — Как же я рад вас видеть! Какая красавица, и какая скромница! Вот что значит доброе воспитание.

Я поклонилась. Раз глянула на него, опустила глаза. Коза у ручья.

У него были медовые манеры и повадки кота, уже заметившего жирную мышь. Он уселся, разгладил полы, перебрал три темы беседы — погода, цены на сукно, здоровье царя — и только потом, мимоходом, повёл рукой в мою сторону.

— А слышал, вчера хозяйка дом обходила. Всё ли в порядке? Люди у Фёдора Алексеича, сами знаете, ненадёжные. Воруют, ежели глаз да глаз.

У меня внутри всё сжалось. Я подняла глаза ровно на секунду, стараясь изобразить ту самую бездонную пугливость.

— Всё благодарение Богу, Афанасий Гаврилыч, — тихо сказала я. — Я ничего тут не понимаю. Мне Прохор Силыч всё показал: вот горшки, вот печи…

— А книги? — спросил он как бы между прочим. — Книги тоже показывали?

— Какие книги? — Я сморщила лоб. — Я грамоте только по Псалтири, Афанасий Гаврилыч. Агафья говорит, женский ум тут не вытянет.

Уголок рта у Фёдора дёрнулся. Совсем чуть-чуть.

— Моя жена старается, — сказал он ровно. — Для неё всё вновь.

— Разумеется, разумеется. — Крюков засмеялся, и смех у него был похож на шуршание сухих листьев. — А вот ещё мне, госпожа, любопытно. Слышал, вы неделю в жару лежали. Лекарь сказывал, жар был какой-то необычный. А отец ваш никого к вам не пускал, даже знахарку. Странно, да? Что же это была за хворь?

Я почувствовала, как рядом со мной словно вырос каменный столб: Фёдор замер. Он не двигался, не дышал, не моргал. Для него это был верный признак того, что тема опасная.

— Я не помню, — сказала я честно. — Мне сказали, что Бог миловал.

— Бог часто милует тех, кто не помнит, — сказал Крюков с лёгкой улыбкой. — Но мы не за этим.

Он хлопнул в ладони, и один из слуг шагнул вперёд с ящиком.

— Дар молодым! — объявил Крюков, и сам открыл крышку.

Внутри лежал серебряный кубок, чёткий, тонкой работы, с эмалевыми цветами по бокам, и рядом, в кожаном чехле, плоская фляга. Вещь дорогая, сразу видно.

— Из моего погреба, — сказал он, вынимая флягу бережно, как ребёнка. — Мёд ставленый, двенадцатилетний, из самого Новгорода. Для молодых. Благословите дом ваш на долгие лета.

Он налил мёд в кубок. Тёмный, густой, золотистый, он лился медленно, с масляным блеском. Потом Крюков поднял чашу двумя руками и поднёс мне.

— Хозяйке первая чаша, — сказал он мягко.

Всё вокруг как будто замедлилось.

Фёдор рядом не шевельнулся, но я кожей чувствовала, как он напрягся. «Ничего не пейте из его рук». Но отказаться значило оскорбить. В горнице стоял Прохор Силыч, у двери маячили слуги Крюкова, а в проёме показалась Дуняшка с кувшином воды, и вид у неё был такой, будто она не принесла воду, а подслушивала под дверью и вовремя успела выбежать. Если я откажусь, к вечеру вся Москва будет знать, что молодая Басманова брезгует дарами и, значит, что-то подозревает.

Я взяла кубок. Двумя руками, как положено. Опустила глаза, как коза.

И тут сработала привычка.

Кубок был новый, тяжёлый, холодный. Полировка свежая, такая, что в боку я увидела своё лицо, кривое и растянутое. Но на ободе, с одной стороны, на ширину ногтя, блеск был другой. Матовый. Чуть шершавый, как налёт. Я видела такое на окладах: когда на серебро что-то капнули и дали высохнуть, или протёрли не тем, чем надо. Весь остальной обод сиял. Пятно было одно. И находилось оно именно там, куда пришлась бы нижняя губа того, кто будет пить.

Это ничего не значило. Брак при полировке. Подмастерье с кривыми руками.

Но Крюков смотрел на меня с лёгкой улыбкой, и в этой улыбке было слишком много терпения. Так смотрит человек, который уже знает, чем кончится дело, и только ждёт, когда оно дойдёт до конца.

Я подняла глаза. Ровно на секунду, как коза.

— Батюшка Борис Фёдорович говорил, — сказала я тихо, — что в нашем роду от старых времён заведено: подарок дарителю возвращают первым глотком. Чтобы в доме была мирная жизнь.

— Не слыхал, — сказал Крюков. Улыбка у него осталась прежней, но глаза чуть сузились.

— Обычай старый, — повторила я с самым детским выражением лица, на какое была способна. — Я только повторяю.

— Помню такой, — вдруг сказал Фёдор. Голос у него был лёгкий, почти скучающий. — И мой батюшка соблюдал. Афанасий Гаврилыч, вы же человек старинной выучки. Вы-то уж точно знаете.

У Крюкова дёрнулась щека. Он понимал, что попался, и понимал, что при слугах, при Прохоре, при Дуняшке отказаться нельзя: «Дарит и не пьёт» значило «дарит и боится». А боится только тот, кто знает, что в чаше.

Я протянула ему кубок. И, подавая, почти не думая, повернула его на четверть оборота: так же, как вертишь чашу в мастерской, чтобы рассмотреть другую сторону. Пятно оказалось с его стороны.

Он взял.

У каждого человека бывает момент, когда он выбирает: показать, что боится, или выпить. Я видела, как этот момент прошёл по лицу Крюкова. Глаза его метнулись к Фёдору, потом к кубку, потом к собственному слуге у двери. На лбу выступила капля пота и поползла к виску. Прохор Силыч за моей спиной не дышал.

Крюков вздёрнул подбородок. Улыбнулся шире. И выпил.

Не пригубил, а выпил, залпом, по-мужски, как пьют те, кто хочет показать, что им нечего скрывать. Кадык дёрнулся раз, другой. Он опустил кубок и вытер рот тыльной стороной ладони.

— Хороший мёд, — сказал он. — Жаль, хозяюшке не придётся попробовать.

— Хозяйка недавно хворала, — вмешался Фёдор. — Мёд крепкий. Прохор Силыч, прими дар. Поставь в кладовую, под ключ. Афанасий Гаврилыч будет рад, что его подарок сохранится.

Прохор шагнул вперёд. Взял кубок за ножку, через рукав, не касаясь обода. Я заметила это и заметила, что Фёдор заметил, что я заметила. Мы втроём ничего не сказали.

Крюков просидел ещё с четверть часа. Обсуждал цены на воск. Улыбался. Один раз потёр шею, другой раз потёр ладонью грудь, как человек, которому не хватает воздуха, но он делает вид, что поправляет кафтан. Прощаясь, поклонился мне особенно низко.

— Здоровья вам, хозяюшка. Крепкого. Долгого.

Он ушёл на своих ногах. У дверей ещё раз вытер рот, с каким-то недоумением, будто губа у него онемела и он хотел проверить, на месте ли она.

Когда за ним закрылась дверь, в горнице стало очень тихо.

Фёдор стоял у окна, глядя во двор, где крюковские слуги подводили хозяину коня. Руки он держал за спиной. Я видела только его спину и затылок: идеально ровный, бледный, напряжённый.

— Прохор, — сказал он, не оборачиваясь. — Кубок не трогать. Никому не давать. Если кто спросит, мёд пролился.

— Слушаю, Фёдор Алексеич.

Прохор вышел. Дуняшка, которая всё это время стояла в проёме с кувшином, тихо исчезла. Мы остались вдвоём.

Крюков уже выезжал со двора. Я смотрела, как он садится в седло, и всё ждала, что он упадёт. Не упал. Сел, оправил полы, тронул коня. Нормальный человек, который съездил с поздравлением и возвращается домой.

— Вы повернули кубок, — сказал Фёдор.

Он не повернулся. Говорил в окно.

— Что?

— Перед тем как подать. Вы повернули его на четверть оборота. — Голос ровный, без нажима, совсем тихий. — Я видел.

У меня пересохло в горле. Я вдруг ясно вспомнила Крюкова, тянущегося рукой к шее, его онемевшие губы, его «хозяюшке не придётся попробовать».

— Это привычка, — сказала я. — Когда смотришь на чашу, поворачиваешь…

— Анастасия Борисовна.

Он наконец повернулся. Лицо его было таким же ровным и спокойным, как всегда. Только глаза смотрели иначе. Не холодно, не насмешливо, а очень внимательно, так, как смотрят на неизвестный механизм, который вдруг заработал не так, как ожидали.

— Вы знали или угадали?
Я открыла рот.
И поняла, что не знаю, какой из двух ответов окажется хуже.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.